

Newton Hall,
of Essex Bar,
of Parliament
two successive
of Dover

Серст Шерус

**Искусство
падать
в
вечность**

18+

Серст Шерус

Искусство падать в вечность

«Автор»

2026

Шерус С.

Искусство падать в вечность / С. Шерус — «Автор», 2026

Этот небольшой сборник рассказов — о времени. О том, как прошлое и настоящее оказываются одним целым, а вечные сюжеты и образы снова и снова оживают в беге истории.

© Шерус С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Одиссея трибуна Авла Валерия	6
Минотавр	18
Пролог. Кафе «Луиза»	18
Мухоедство	19
Мойры	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Серст Шерус

Искусство падать в вечность

Иногда мне снится сон, как будто небо меня в себя втягивает. И я попадаю в какой-то другой мир. В этом мире нет стены между живыми и мёртвыми.

Х/ф «Сказка для старых» (режиссёр Р.В. Михайлов, 2022 г.)

Одиссея трибуна Авла Валерия

В тот вечер в римской каупоне пировала группка ветеранов времён первой тетрархии. Звенели чаши в узловатых, зачастую покрытых шрамами руках, проливалось на стол вино, ароматно пахло жареное мясо, трещали, испуская тусклый свет, масляные лампы. Отставные легионеры шумно вспоминали войны с варварами, готовыми раздавить Рим, словно пустой орех - но всякий раз получавшими достойный отпор, мятежи, вспыхивавшие тут и там, точно пожары в степях вокруг далёкого Борисфена, походы и битвы... Не по зубам вам римский орешек, зарубите себе на носу, дикари и бунтовщики!

Пили за здоровье Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора, Галерия - простых солдат, возвысившихся до императорской порфиры - чей геркулесовский труд возродил былое величие державы. Дивились недавно вышедшему в Никомидии эдикту, прекращавшему преследование секты поклонников распятого плотника из Иудеи. Станные люди с их рыбами и овцами переупрямили-таки Вечный город, бык Митры отступил перед галилейским агнцем. С другой стороны, Рим видал всякое; вспомнить хотя бы кесаря Адриана, объявившего богом своего смазливового заднего друга из Египта. Как забыли горе-небожителя Антиноя, так забудут и этих упёртых фанатиков, - а Рим будет стоять.

- ... Помнишь, как в ту зиму за Истром? — пробасил один, седой, с выбитым зубом и хищным шрамом через всю бровь. — Мы тогда думали: всё, конец. Сарматы навалились, как снежная лавина, а нас — пара мёрзлых голодных когорт. И ничего — выстояли. Потому что железо крепче камня, а римское железо — крепче всего.

— Железо - да, — усмехнулся другой, моложе, но с заметной хромотой, от которой он глухо стучал сандалией о глинобитный пол. — А ещё — упрямство. Империя, брат, она не на мраморе стоит и даже не на железе. Мрамор крошится, железо ржавеет. Но упрямство солдата, вроде нас, - никогда.

- Дело говоришь, Гай, - одобрил седой.

Помолчав, он вдруг злобно добавил:

- А это что за хрыч там в угол забился? Я давно за ним наблюдаю. Сидит, закутавшись в плащ, точно наушник из претория, зыркает глазищами да цедит одну чашу вина весь вечер, как жалкий изнеженный грек. Эй, ты, а ну вали отсюда, живо!

- Да это катамит! - крикнул другой воин. - Пялится на нас, а потом пойдёт за угол и будет всю ночь дёргать свой отросток.

Пирующие дружно заржали. Одиночка же спокойно встал, откинул плащ и неторопливо подошёл к их столу. Его лицо, манера двигаться и говорить выдавали умение повелевать, так что глумливые казарменные оскорбления быстро стихали, а смех застревал в глотках. Но было ещё что-то... Высоченный, не столько мускулистый, сколько жилистый незнакомец напоминал ночного лемура, человеческую оболочку, в которой не оставалось ничего, кроме клубившейся пустоты.

- Я тут вспоминал сегодня одну историю, - начал он ровным и тусклым, как старое олово, голосом. - Наверное, старый я стал. Слишком много в жизни повидал — хочется поделиться с теми, кто хоть немного понимает, что такое лимес.

- А ты-то знаешь? - отозвался, всё так же враждебно, но заметно тише, седой.

Незнакомец неторопливо перевёл взгляд на него.

- Вот ты говоришь про геркулесовы труды наших августов... Я служил при Диокле. До того, как он стал Диоклетианом. И видел его прямо перед собой вот как сейчас вашу компанию.

- Да ты кто такой вообще? - рыкнул Гай.

- Я - центурион Марк Аврелий Гракх. Забавное имя, не так ли, milites? Греческие философы называли бы его парадоксом. Мой отец равно хотел объединить во мне Рим кесарей и Рим старой республики, которые он равно чтит.

Долговязый улыбнулся одним губами.

- Врёшь! - крикнул Юлий, чьё лицо навеки сжёг египетский загар. - Марк Аврелий свихнулся и сгинул в германских лесах. От него остались солдатские побасенки - скоротать ночь в лагере или казарме.

- А ты не так уж и не прав, герой, - проговорил долговязый, - центурион Марк и вправду навеки остался в Германии. И всё же его брэнная оболочка сейчас перед вами, milites.

Он обвёл взглядом как-то невольно притихших ветеранов.

- Хотите услышать то, чего нет ни в одной хронике? Я вам расскажу об Одиссее, который бежал через лес распятых. И о человеке, который превратил этот лес в гекзаметр. Человеке, который — я вам клянусь богами, даже если мы их больше не чтим — знал правду. Он не верил ни в Рим, ни в иудейского плотника, ни в Митру, ни в Солнце Непобедимое. Он верил только в лес. И в поэму, которую он написал.

- Присаживайся, - буркнул седой. - Валяй свою историю, но сначала выпей с нами. И не думай, что мы тебе поверили. Просто интересно, как быстро тебя поймают на лжи, и, клянусь Оркусом, тогда я своими руками выбью из тебя всю дурь.

Легионеры одобительно загудели. Марк сел на предложенное место, поднял протянутую ему чашу, неторопливо осушил её. Также медленно поставил отполированный тысячами губ и пальцев сосуд на стол; длинные пальцы, напоминавшие скорее о стилусе поэта, чем о мече воина, поглаживали край чаши, словно ища в нём опору - так некоторые женщины, задумавшись, гладят ткань своих палиев, словно оценивая её качество. Прозрачные, как колодезная вода, глаза смотрели куда-то поверх голов, сквозь черепичную крышу, сквозь десятки лет. Все стихли; казалось, что даже припустивший на улице дождь прислушивался.

Слушай, трибун, и запомни навек для грядущего страха:

Рим — это топь, где купаются тени убитых царей.

Помнят германские тропы шаги легионов суровых,

Тех, что ушли в лесá, забыв навсегда о вчерашнем.

Я — Валерий, что в смертном убил человека навеки,

Чтобы остаться лишь тем, кто глядит из холодного пламени.

Нет императора здесь — только воля да небо пустое,

Дряхлый орёл и грязь, что на тронное место легла.

Видишь черту на песке? Переступишь — и не будет возврата.

Те, кто зашёл за неё, уже пили из рек молчаливых,

Где вместо воды — тишина, вместо камня — глухое сомненье.

Я не безумец, трибун. Я — последний из тех, кто прозрел,

Что победа — не в бронзе и стали, а в том лишь, чтоб молвить:

«Я утомлён. Я ушёл. Не ищите меня, квиниты».

Рим умирает не в битвах — он гниёт в тишине молчаливой

Собственных страхов своих, пока мы считаем трофеи.

Боги свидетельствуют: Валерий раньше не говорил о женщинах. Никогда. Я всегда думал, что он бесполой, как ветер. Пока однажды не увидел одну вещь. Моя чаша пуста, milites.

Кто-то плеснул вина, Марк благодарно кивнул, отпил и продолжал.

- Навощённую дощечку с женским портретом. Греки зовут это энкаустикой...

- Эмпуза ведаёт, как они зовут это дерьмо, - буркнул Юлий, - но я насмотрелся на такие поделки в Египте.

- ...Изображение женщины, не идеализированное, не божественное в духе Юноны, Венеры или Дианы, — просто лицо, которое я запомнил навсегда. Тонкие брови, чуть приподнятые, как будто она только что улыбнулась. Глаза — большие, тёмные, с длинными ресницами, которые Валерий выцарапал с такой тщательностью, что они казались живыми. Волосы уложены в простую, но изящную причёску, с несколькими локонами, выбивающимися у висков. На шее тонкая цепочка с маленькой подвеской, похожей на лист плюща. Она смотрела не на зрителя, а чуть в сторону, как будто ждала кого-то за пределами рисунка...

- Э, так дело не пойдёт - оборвал рассказчика Юлий. - Что нам до стишков и бабьей рожи! Рассказывай по-человечески, с начала.

- С начала так с начала. История эта началась, пожалуй, за несколько дней до того персидского похода, который мог принести новоиспечённому кесарю, моему тёзке Марку Аврелию Кару лавры Траяна или горькую участь Красса - но закончился для него загадочной смертью, скорее всего от рук заговорщиков, в палатке. Судачили, мол, кесаря сразила громовая стрела Юпитера, но мы-то знаем, чем пахнут такие молнии.

Кто-то из слушателей одобрительно кивнул - похоже, для него это были не просто слова. Марк посмотрел в чашу, вино в которой почти не отражало света.

- Моя центурия шла с остальным войском к персидской границе. Лагерь во фракийской глуши, только палатки и костры. Всё как мы любим, *milites*.

Кривая ухмылка растянула губы центуриона, но глаза оставались пустыми и неподвижными.

- Духота, от которой не спасала даже ночь. Насекомые, которые лезли в глаза, в рот, в уши. Бессонница, от которой я едва не начинал говорить сам с собой. Наконец, Морфей одолел меня - единственное поражение, которое всегда меня радует. Ненадолго.

Диокла, ещё не Диоклетиана, тогда комита domestikов, я узнал сразу. Уже видел его раньше в Мёзии, когда он в бытность наместником провинции объезжал гарнизоны. Приземистый, лысеющий, с острыми глазами, которые никогда не моргают слишком часто... Он не изменился — только стал старше, суше, и взгляд тяжелел, как свинцовая булла.

- Врёшь, - донеслось с другого конца стола. - Сдался ты ему...

Марк лишь пожал плечами и продолжил:

- Несмотря ни на что, он оставался солдатом, сыном вольноотпущенника из Иллирии: Диокл принял меня в армейской палатке, в простом платье и доспехах, вроде моих. Никакой стражи, никакой роскоши - только он, я, карта на складном столе и масляная лампа, которая чадила так, что запах гари ел глаза.

Марк смотрел на сестру той лампы в каупоне, словно заклиная время.

- Центурион Гракх, ты знаешь, зачем я тебя вызвал? - спросил Диокл.

Я ответил, что нет.

- После Мёзии ты служил на Рейнском лимесе.

- Так точно, *domine*.

- Не смей перебивать меня.

Он посмотрел на меня, и я понял: меня не вызывали для допроса или справки. Меня вызывали для того, чтобы вручить бремя.

- Следовательно, знаешь тамошних командиров. Меня интересует Тринадцатый Охотничий легион. Конкретно - трибун Авл Валерий. Я удивлюсь, если вы не знакомы.

Затрещал фитиль лампы, так же, как десятки лет назад в той палатке во Фракии. Марк вздрогнул, точно женщина, увидевшая мышь. Юлий осклабился, рассказчик же, точно проснувшись, допил вино и продолжил своё повествование.

- Я знаю трибуна Авла Валерия как солдата, к тому же старшего по званию - не более.

- И как он тебе? - напирал Диокл.

- Не в моих правилах обсуждать тех, кто выше меня, domine.

Он вдруг расхохотался. Сухо, без тепла — как треск костра.

- Ты предпочитаешь перебивать их, центурион. Отчасти твой ответ радует меня. Римское войско, наконец, вспоминает о дисциплине. Если ты сейчас искупаешь недавнюю дерзость, центурион, то можешь не стараться, она не будет иметь последствий.

Он посерьёзней и посуровел, буллы глаз набрали ещё несколько ассов свинца.

- А вот нарушение моего приказа - будет. Изложи мне всё, что тебе известно о трибуне, центурион, это приказ.

Его голос был ровным, но в нём чувствовалась сталь, как в клинке, который ещё не вынули из ножен, но уже готовились приставить к горлу. Я не был настолько близок с трибуном, чтобы ссориться из-за него с комитом домашних, как, впрочем, и чтобы вырыть Авлу Валерию могилу своим языком.

- Валерий - достойный командир, - ровным голосом излагал я, - строгий, но справедливый. Его когорта славится как одна из лучших в Тринадцатом Охотничьем. Десятки успешных рейдов по тылам германцев, сотни вызволенных из плена воинов и спасённых от рабства мирных квиритов, отбитые у хищников ценности на многие тысячи сестерциев... Варвары боятся его, но уважают. Римляне - просто уважают.

- Это мне известно, - сухо бросил Диокл. - Я спрашиваю не о том, что он делает на плацу, в походах и схватках. Говорят, трибун Авл Валерий много читает, пишет стихи и рисует. Это правда, центурион?

- Не читал его стихов и не видел его картин, domine, - продолжил я осторожно. - Я солдат, а не ценитель искусства. А вот свитки в его руках - да, видал, и неоднократно.

Смешок, как треснувшая в огне ветка. Диокл достал из-под карты на столе хартию из древесной коры и протянул мне.

- Читай, центурион.

- Слушай, трибун, и запомни навек для грядущего страха... - прочитал я.

Словом, вы поняли, milites.

Марк покрутил пустую чашу на столе, как ребёнок - волчок. Пальцы бегали по краю.

- Тогда мне это стихотворение ничего не сказало. Тогда я ещё не побывал в лесу Валерия.

Диокл, не моргая, смотрел на меня, пока глаза мои съедали одну строку за другой. Затем буквы кончились, и я с недоумением поднял свой взгляд на комита.

- Почти год назад когорта Авла Валерия исчезла, - заговорил Диокл. - Растворилась в германских лесах за лимесом во время очередного похода. Легат посылал разведчиков, но они не возвращались. Я думал, когорта погибла, попала в германскую засаду, Фортуна повернула колесо, Марс отвернулся, на войне такое бывает... А потом пошли донесения.

Комит положил руку на карту, собираясь с мыслями. Я молчал, готовясь впитывать каждое его слово.

- Не только от разведчиков — от купцов, от перебежчиков, от варваров, которые приходят к нам торговать. Все они говорили об одном: трибун Авл Валерий и его когорта выжили... но начали терять человеческий облик

Голос Диокла стал тише, но и тяжелее, тоже набрав свинца.

- Воины и германцы поклоняются Авлу Валерию, как богу. А он...

Пальцы комита сдавили край стола. Побелели костяшки.

- Сарматы, которых мы боимся в открытом поле... они дикие. Они живут в степи, не знают жалости, убивают пленных без колебаний, режут головы, сдирают кожу с живых, когда хотят запугать. Но сарматы — звери. Ими движет их примитивная природа, как медведем или волком. Валерий — не зверь, он - римлянин, воин. Но на фоне того, что творят он и его когорта, сарматы кажутся невинными детьми. Казни, пытки и гексаметры - вот из чего состоит жизнь трибуна Авла Валерия... У меня хранится не один десяток таких грамот со стихами.

Диокл поднял глаза на меня. Взгляд был тяжёлый, немигающий.

- Я не понимаю, центурион, - прошептал он. И этот шёпот, в котором сложились воедино ярость, ужас и беспомощность, до сих пор слышится в моих ночных кошмарах.

Впрочем, уже через долю секунды комит овладел собою. Он подтянулся, в лице его словно затворилась незримая дверь, голос стал сух и отчётлив.

- Впрочем, понимать безумцев - не моя работа. Трибун Авл Валерий и его приспешники для меня - просто бунтовщики и дезертиры, оскорбляющие величие божественного кесаря, пятнающие честь римского войска. Казус Постума с его жалким лже-Римом в Галлии не повторится. И ты, центурион, станешь карающим мечом кесаря. Ты отправишься за Рейн и поразишь Авла Валерия. Теперь можешь говорить.

Мой ответ напоминал скорее выдох.

- Почему я, domine?

- Снова дерзость. Потому что я так сказал - с тебя достаточно бы и этого. Потому что ты достаточно хорошо знаешь трибуна, чтобы он начал с тобой разговаривать - но не достаточно хорошо, чтобы быть под его обаянием.

Сейчас я уже смогу описать владевшее мной ощущение. Что-то подобное чувствовал Икар, когда солнце начало пригревать. Ты уже знаешь, что падение неизбежно, но всё ещё надеешься, что сможешь удержаться в воздухе.

- А если я откажусь, domine? - всё же отчеканил я по-солдатски, хотя слова застревали в глотке.

Диокл посмотрел на меня. Без гнева, без угрозы. Как человек, который уже всё решил и просто сообщает тебе приговор.

- Центурион, мне известны твои разговоры в Мёзии. Понимаю, это была пустая болтовня, ветер смуты кружил тогда многие головы... Понимаю и то, что ты сам достойно встретишь смерть. Но для разговоров нужны собеседники. Подумай, каково это: жить с осознанием того, что из-за тебя сняли головы доверившимся тебе.

- Слушаюсь, domine, - отчеканил я.

- Первый толковый ответ за всё время. Ступай. Завтра ты сдашь центурию и поступишь в моё распоряжение.

Я вышел из палатки. Ночь была тёплой, звёздной. И я понял, что только что потерял себя, не в том смысле, что меня убьют или запытают в лесу, а в том, что я уже никогда не буду тем, кем был до этого разговора.

Ветераны притихли: история увлекала, рассказчик втягивал их в свои сети, и даже неугомонный Юлий лишь пробурчал что-то вроде: «Ну, ври дальше». Кто-то пустил по кругу очередной кувшин вина, Марк охотно промочил глотку и продолжил.

- Мы плыли по Рейну на жалкой плоскодонке. «Мы» - это я и пара еле ворочавших языком на латыни германцев-проводников и гребцов одновременно. Люди Диокла уверили меня в полнейшей их надёжности, и всё же мысли о том, что этим варварам ничего не стоит пырнуть меня ножом или просто сбросить в реку, преследовали меня, точно злобные какодемоны. Рейн был мутным, серым, тягучим, как расплавленное олово; казалось, мы плыли по Стиксу в царство Плутона - вопрошать мёртвых о разгадках давних тайн и секретов. На том берегу германские леса стояли стеной — не тёмной, нет, скорее плотной, как тёмно-зелёный войлок. Они встретили нас тишиной. Не той, что обычно бывает в лесах, — безветренной, пустой, - а той, что слушает, полной скрытой угрозы жизни.

- Проводники, — продолжил Марк, криво усмехнувшись, — оказались не самыми болтливыми попутчиками. За два дня пути я услышал от них ровно семь слов. Два из них были «Рейн», три — ругательства на их языке, и ещё два — «не ходи» и «там». Нещадно коверкая язык Горация и Вергилия, германцы тыкали при этом пальцами в сторону тёмно-зелёной дре-

весной стены. Они не знали Валерия - они знали лес. И боялись его так, как мы, римляне, напичканные суевериями, корни которых уходят ещё во времена этрусков, боимся только злых духов и лемуров, — и то не всегда. Не знаю, чем я заслужил это желание варваров спасти меня, может тем, что держался с ними на равных, но в любом случае моё спасение не входило в замыслы Диокла.

Он снова усмехнулся.

- Плоскодонка ткнулась носом в песок. Я шагнул на берег и понял: здесь нет ни следа человека. Ни лодки, ни тропы, ни даже старого кострища. Просто лес и тишина. Проводники даже не стали ждать, пока я отойду на десять шагов — развернули лодку и заработали вёслами, оставляя за кормой белую полосу пены, которая быстро растворялась в серой реке.

Я остался один.

- Один? — перебил седой Юлий, прищурившись. - Так я тебе и поверил! Чтобы такой перестраховщик, как будущий кесарь Диоклетиан послал тебя одного на задание, не дав людей...

- Помощников, надзирателей и шпионов одновременно, - ввернул Гай. - Заливаешь, брат!

- Людей мне дали, — кивнул Марк. — Молодой декан Опций с лицом, похожим на чистый лист папируса, и ещё десять отборных головорезов. Они всё это время были рядом со мной. Правда, я узнал об этом только через час пути по берегу, когда они вышли из леса мне навстречу. Я показал кольцо из аурихалка, подтверждавшее, что я выполняю задание комита domestikов, Опций хмуро кивнул и отсалютовал мне. Доложил обстановку, дал короткую справку по своему контубернию.

Мы пошли вглубь. Лес встретил нас не враждебно — он словно приглашал в гости. Ветви расступались ровно настолько, чтобы пропустить колонну, корни не цеплялись за калиги, бурелом не мешал идти. Пахло мокрой шерстью, гнилой корой, железом и чем-то сладковатым, как переспелые ягоды, которые уже начали бродить. Этот запах был плотным, почти осязаемым. Он забивался в ноздри, оседал на языке, и я невольно сглотнул, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Лес уже обжили незримые люди, изгнав девственные ароматы смолы и хвои, и это не сулило нам ничего хорошего.

За столом повисла тишина. Слышно было, как потрескивает фитиль лампы и где-то за стеной капает вода.

Потом Юлий, наконец, допил вино и пробасил:

- А дальше?

Улыбка Марка не касалась глаз.

- А дальше, — сказал он, — я увидел дощечку. В хвое, среди корней. На ней был портрет женщины, про который я уже говорил. Под него была подоткнута очередная грамота на коре.

Центурион покрутил чашу и негромко прочитал:

Женщина — имя моё. Всё прочее — шум за стеною.

Ты, что умеешь молчать, ты одна — мне опора в минувшем.

Я о тебе не писал, я водил по вощёному слою

Палкой, что помнит черту между Римом и тем, что за Римом.

Видишь ли, лес — это я, а река — это память о теле.

В зеркале вод — не лицо, только тень, уходящая в темень.

Если же спросишь: «Любил?» — я отвечу: «Сгорел я, но в пепле

Тишина уцелела одна. И она — лишь про неё, не про нас».

Стихи были написаны знакомым почерком, тем самым, который я видел в палатке Диокла.

Марк замер, взгляд его точно развернулся внутрь.

- А затем засвистели стрелы.

Гай вздрогнул, словно проснувшись, сделал защитную «козу» пальцами левой руки. Юлий качнул головой, будто отгоняя муху, и буркнул: „Стихи... стихи — это не наше. Но тут... хреново, что он их написал“.

- Контуберний вырезали быстрее, чем самый шустрый сармат или маркоман выпростал бы член из штанов, чтобы отлить. Германцы появлялись словно из пустоты, как мстительные духи, а стрелы их не знали промаха. Одна из них пробила шею Оппию, и на папирусе его лица появились строки недоумения. Такое бывает у людей, которые не успели понять, что умерли. Я вытащил спафу, надеясь не продать жизнь подороже - не настолько я был глуп и самонадеян - а взыскать с врага хоть какую-то плату за себя.

Марк поставил пустую чашу на стол. Его руки, покрытые шрамами, лежали на столе неподвижно, но в них чувствовалось напряжение — как у человека, который снова сжимает рукоять меча.

- Камень ударил мне в лоб, как удар грома, который ты слышишь за мгновение до того, как он тебя настигает. Деревья кружились перед глазами, голоса распадались на десятки отдельных звуков... Пальцы выпустили спафу. Потом пришла тьма - тёплая, как кровь, текущая по виску.

Я очнулся, бородатый предводитель варваров поднял меня - аккуратно, но твёрдо.

- Ты идёшь к нашему повелителю. Он ждёт тебя, - сказал он на хорошей латыни.

Это и черты лица изобличали в нём римлянина, несмотря на варварский наряд, наверное, он был одним из той самой пропавшей когорты Тринадцатого Охотничьего. Германцев было немногим больше, чем нас. Они двигались как хозяева, которые знали, что гости уже не уйдут. Без доспехов, в кожаных облачениях, с короткими копьями и луками, которые они уже опустили — потому что стрелы сделали своё дело. Дико болела голова.

- Веди, - морщась, ответил я.

Они не связали меня, не заткнули мне рот, просто окружили — как волки, которые ведут оленя к выводку. И пока мы шли, я смотрел на деревья. На соснах, мимо которых мы проходили, висели мои люди. Каждый на своём дереве. Каждый с лицом, обращённым к Риму.

Юлий хотел что-то сказать, но только хрипло выдохнул. Один легионер украдкой перекрестился, повторяя жест за женой, чудом уцелевшей во время недавних гонений.

- Голова всё ещё болела от удара камнем, порой накатывала тошнота, но всякий раз мне удавалось сдерживаться. Лес поглотил нас, под моими калигами хрустнули сухие ветки, и этот звук показался мне оглушительным — как треск костра в безветренную ночь. Я остановился. Это была тягучая, вязкая тишина, как вода в болоте. Она давила на уши, и я слышал биение собственного сердца громче, чем шаги. Чаща... переваривала нас.

Я шёл медленно, считая шаги. На пятом десятке я заметил, что счёт сбивается: я мысленно повторял «двадцать три, двадцать четыре», а потом оказывалось, что на самом деле я уже дошёл до сорока. Время в лесу текло по-другому. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь кроны, не двигались. Я смотрел, ждал, что они сдвинутся хотя бы на палец, — они стояли на месте. Как будто лес заморозил мир вокруг себя. Наконец, мы вышли к той поляне.

Марк замолчал. Он смотрел на пустую чашу, и в его взгляде проступало то, чего не было раньше: не ужас, не горечь, а что-то похожее на благоговение.

- Он сидел на троне. Не на том, что мы знаем — из мрамора, золота и пурпура. Его трон был сделан из того, что осталось от Рима. Куча римских щитов, сложенных в круг, как сиденье для варварского вождя. На них лежала волчья шкура, местами вытертая до дыр. Поверх шкуры — военный плащ. Когда-то алый, а теперь почти серый, в заплатках, с выцветшими нашивками, которые уже никто не мог прочитать. Марса сменил Сильван.

А на этом странном троне сидел человек. И когда я смотрел на него, то не знал — встать мне на колени или броситься на него с мечом.

Все, кроме меня, попадали ниц - Диокл ещё не приучил нас, римлян, к проскинезе. Предводитель отряда, видимо, заметив, что я всё стою, осторожно и робко косясь на Авла Валерия, поднялся и с гневным лицом шагнул ко мне, чтобы принудить...

- Оставь, Максим, - проговорил трибун, но я не узнавал этот голос.

Авл Валерий скинул капюшон с огромной наголо обритой головы, и я увидел его лицо. Не то, что я запомнил со времён своей службы на лимесе; изрезанное морщинами, оно напоминало карту всех походов Рима.

Марк всматривался в дно чаши, словно призывая образ трибуна.

- Его глаза... В них было трудно смотреть... Пустые... Трибун смотрел сквозь меня, как будто я был ширмой, за которой скрывалось что-то, видимое лишь ему. Авл Валерий был спокоен и неподвижен, как статуя, но уголки его губ периодически подёргивались, а пальцы рук рисовали в воздухе сложные узоры. Дыхание так редко колыхало эту мощную грудь, что порой я непроизвольно ловил себя на мысли - не испустил ли трибун дух на моих глазах.

- Значит, они выбрали тебя, центурион Марк, - наконец, нарушил он затянувшееся молчание. - Я не буду тебе мешать. Можешь остаться здесь. Можешь идти своей дорогой. Можешь сделать то, за чем тебя послали.

Голос был всё тот же, чужой, незнакомый.

- К чему это милосердие? Я пришёл, чтобы убить тебя. Ты знаешь это, Авл Валерий.

Он пропустил своё имя мимо ушей.

- Нет. Ты пришёл, чтобы услышать. Ступай и жди ночи.

В тот вечера в лагере Авла Валерия жарили на костре кабана и оленя. Максим проследил, чтобы я получил свою долю от обеих туш. Вообще, за мной присматривали, но ничем не меня не стесняли.

Голос Марка стал задумчивым, почти мечтательным.

- Я не заметил его сразу. Он сидел в тени, у самого края света, скрестив ноги на манер парфян и смотрел на огонь так, как смотрят на него жрецы — как будто он содержит в себе все ответы. Затем этот человек поднялся, медленно, как будто его тело было старше, чем он сам. Он подошёл к костру, и свет упал на его лицо — худое, с острыми скулами и глубокими глазами, которые смотрели на мир со спокойной насмешкой.

- Ты, наверное, думаешь, что я — слуга, — сказал он, и его голос был мягким, с греческим акцентом. — Или пленник. Или безумец, который прибил к лагерю, как собака к костру.

Я ничего не думал; мысли мои разбредались, как рабы, чьи хозяева бежали от войны или гнева кесаря.

- Меня зовут Клеонт. Я — философ. И я — ученик Валерия.

- А он учит философии? - безразлично отозвался я.

- Кто-то учит словом, кто-то - делами, - ответил грек. - Трибун - величайший из учителей. Я молча пожал плечами, так как не понимал его.

- Я пришёл к Авлу Валерию год назад, - продолжал Клеонт, - и искал не убежища, а правды. Мы говорим с трибуном о Гомере, Эсхилле, Софокле...

- Это у Софокла он вычитал вешать римлян на деревьях? - бросил я. - Резать целые деревни, связывать пленных спина к спине и кидать в реку...

Те мгновения у портрета женщины заставили меня по-иному взглянуть на слова Диокла.

Клеонт лишь усмехнулся. Грек не носил оружия, ни меча, ни кинжала. Только посох, сумка с папирусами за спиной - и взгляд, который мог бы пронзить стену.

- Ты думаешь, что пришёл убить его, римлянин. Но ты пришёл, чтобы услышать правду. Я знаю это, потому что я тоже пришёл сюда с теми же мыслями, когда-то. Я думал, что трибун - просто безумец, идиотес. Я пришёл уличать его, наполненный книжной мудростью Платона, Порфирия, Ямвлиха. А остался, потому что в его безумии оказалось больше смысла, чем в

любой логике, которую я изучал у стоиков. Я думал, что нашел все ответы в книгах, но их слова были лишь бледными тенями того, что я увидел здесь, в лесу.

Этого человека одарили все боги. Он воюет, как поэт, и рисует, как воин. Германцы считают его воплощением Вотана - это их варварское божество, ваш Тацит видел в нём Гермеса, но, по-моему, оно соединяет в себе Гермеса, Зевса и Ареса.

Трибун Авл Валерий учит меня тому, что наши города — это не камни и стены, а идеи. И когда идея сгорает, город сгорает вместе с ней. Рим тоже сгорит, центурион. Не от варварских факелов — оттого, что он перестанет помнить, зачем он был построен. И когда это случится, не будет никаких легионов, чтобы защитить его. Будет только лес... И тишина.

- Кто та женщина на портрете? - оборвал я его разглагольствования.

Клеонт побледнел и осёкся. Его пальцы, до этого спокойно лежавшие на посохе, сжались так, что побелели костяшки

- Мы зовём её просто: «Она», - почти прошептал он, голосом дав понять, что последнее слово начинается с прописной буквы.

Мы ещё говорили с Клеонтом, когда я услышал шаги. Медленные, как у человека, который знает, что время работает на него. Я поднял глаза и сквозь дым костра увидел силуэт, который отделился от тьмы между деревьями.

Валерий вышел из тени. Его огромная лысая голова чуть отсвечивала в свете костра, глубокие тени залегали под глазами. Он шёл неторопливо, будто каждое движение было отмерено заранее.

Я хотел встать. Клеонт, похоже, неплохо изучивший своё божество, положил мне руку на плечо и покачал головой. Я остался сидеть. Трибун сел на землю напротив меня. Не на свой трон из щитов, не на бревно — просто на землю, как равный. Протянул руки к огню, согревая их, хотя ночь была тёплая.

- Гость сучает, дети мои - неторопливо проговорил он всё тем же незнакомым, чужим голосом. - Побалуем его поэзией.

Марк замолчал. Ветераны не двигались. Центурион смотрел на огонь лампы, и его голос становился ровным, как у человека, который перестал быть рассказчиком и снова стал участником.

- Он сказал это, не поднимая глаз. Руки его всё ещё были протянуты к костру, и в свете пламени я видел, как двигаются его пальцы — медленно, ритмично, словно он считал что-то невидимое.

Я не знал, что ответить. Я думал, он будет говорить о войне, о Риме, о книге. Но он говорил о поэзии. Словно мы сидели не в лесу повешенных солдат, а в греческом театре, где актёры играют трагедии.

Авл Валерий читал отчётливо, но монотонно и глухо.

Видел я град Илион, что стоял, а теперь его нет — пепел.

Серый, как утро в изгнание, и дым, что не знает предела.

Здесь у Приамовых стен родники Скамандра струились

Сладко, как голос Елены, когда говорила с Парисом.

Ныне же ветер один, и он носит не запах, а имя.

Имя того, кто сжёг, и того, кто сгорел, не спросивши,

Боги ли были тому виной, иль людская гордыня —

Знаю лишь: пепел не помнит, чьей кровью он был напоён.

Только река золотая, что Зевс пролил в ночь под стеною,

Помнит, но нем язык у того, кто глядит на руины.

- Одиссей... - глухо проговорил трибун.- Ты думаешь, почему Одиссей пустился в плавание?..

Видел я мужа, что стал не мужчиной — безумцем и богом,

Он обнимал свою жену, но руки его были в крови.

Кровь на ладонях, на ложе, на белом хитоне Елены,

Кровь на губах, что шептали: «Ты — моя, и никто не отнимет».

Она же дрожала, как лань, что застигнута стаей волков,

Глаза её были пусты, как колодцы, где нету воды.

И плакала не о Трое она, и не о похищение,

А о том, что любила когда-то — и больше не помнит, кого.

В моём левом ухе поселился горячечный шёпот Клеонта. Я чувствовал его дыхание, тёплое, сухое, как ветер в степи.

«Одиссей не просто убежал от обезумевшего Менелая возмнившего себя Аресом. Он убежал через лес, тот, что был за стенами города, — пуща Аполлона, где троянцы до осады хоронили своих героев. Теперь на деревьях висели распятые жители Илиона. Птичье пение и стрёкот цикад сменилось предсмертным хрипом и стонами...»

Слушай, потомок, я пишу для того, кто не боится:

Видел я лес, где деревья — не сосны, а люди,

Кровью политые, гвоздями прибитые к сучьям.

Видел я мужа, который бежал от безумца,

Мужа, что криком хотел перекрыть этот лес.

Это — Одиссей, хитроумный, но ныне — без имени,

Ибо Менелай, обезумев, назвался Ареем,

Взял себе трон Илиона и факел, и книгу,

Где вместо слов — только стоны, а вместо имён — только ветер.

«Он бежал не потому что боялся Менелая или смерти, - вдохновенно шептал Клеонт, - Он боялся навсегда остаться в этом лесу. Но Менелай не искал его. Он сидел на троне Приама, которого зарубил, как скотину, смотрел на дым и шептал: «Ты вернёшься, Одиссей. Все возвращаются ко мне. Я — война, я — конец, я — последняя истина. Ты просто устал. Но я подожду - у меня есть вечность».

Одиссей вернулся на корабль седой, с белыми волосами, хотя ему было всего тридцать. И он не мог говорить три дня... Только пил воду и смотрел в одну точку. Когда после долгого странствия он вернулся на Итаку, Пенелопа, слуги, домочадцы вышли встречать своего мужа и повелителя. А Одиссей бросился на них с оружием, думая, что это наглые женихи, решившие

отобрать у него трон, жену и кров. Его настигла судьба Менелая, царь ахейцев дотянулся до него с развалин Трои».

Видел я мужа, что был хитроумным, но стал лишь бегущим,

Тени за ним по пятам, и не тени — а лица убитых.

Он не смотрел на дымящийся прах Илиона,

Он смотрел на деревья, где ветви держали не листья — тела.
И он убивал слуг своих, думая: «Се женихи»,

Снова и снова вонзая клинок в плоть, что не знала измены.

А когда уходил — он не знал, что бежит не от битвы,

А от тени того, кем он стал в этом городе мёртвых.

«В финале царь Итаки бродит вдоль побережья, одинокий, нищий, без имени, и рассказывает рыбакам историю о троянской войне и своём путешествии. Но никто не верит ему — потому что он не похож на героя...»

Марк обхватил голову руками и сжал, словно силясь выдавить из неё кошмарное воспоминание. Белели костяшки пальцев. Ветераны молчали. Дождь всё барабанил по черепице, да потрескивала, догорая, лампа.

- Глухой удар о землю оборвал грека. Я всё не мог понять, что трибун прячет под своим плащом... Думал, свиток с поэмой. Но это была отрубленная голова молодого декана Оппия. Она приземлилась у самых моих ног. Волосы слиплись от крови, глаза были открыты — и смотрели на меня, как будто декан всё ещё пытался понять, что произошло. Его губы были чуть приоткрыты, словно он хотел задать вопрос, но не успел.

Я смотрел на Авла Валерия и понимал, что передо мной не человек, а сосуд для какой-то непонятной, непознаваемой, чуждой, безликой силы. Он сидел на земле, сложив руки на коленях, и смотрел на меня. Без гнева, без торжества, без сожаления. Смотрел, как смотрят на событие, которое уже не имеет значения. Он видел не меня, не Клеонта, не варваров и дезертиров - а вечные образы, что движут мирозданием. Мы были для него всего лишь тенями, мелькнувшими в свете его костра.

- Деймос...Фобос...

Не столько услышав, сколько прочитав это по губам, я начал кричать: дико, изо всех сил, как варвар, как женщина, как безумец. Я кричал так, что, наверное, мои собственные люди, висевшие на соснах, слышали меня. Я кричал так, что Клеонт закрыл уши. Трибун Авл Валерий же просто сидел и смотрел на меня — и в его взгляде не было ничего, кроме пустоты, в которой я мог видеть только своё собственное отражение.

Тогда я понял, что точно выполняю приказ Диокла, но не из благоговения перед волей комита домашних.

- Давайте выпьем ещё, milites.

Осушив в молчании очередную чашу, Марк проговорил уже сухим, почти официальным тоном.

- Потом...позже...я нашёл её, ту, которую за Рейном звали просто Она. Незадолго до своей смерти трибун Авл Валерий всё же заговорил о женщинах.

Аврелия - так её звали - выходила на рынок только по утрам, когда солнце ещё не поднималось высоко, и возвращалась с корзиной оливок и хлеба. Я следил за ней три дня, прежде чем решился подойти. Её всегда сопровождала пожилая рабыня.

Она была старше, чем на портрете. Но я узнал её сразу — по тому же взгляду, по той же линии губ, по тому, как она заправляла волосы за ухо, когда нервничала. Я подошёл к ней у фонтана, когда она ждала, пока рабыня наполнит кувшин.

- Аврелия?

Она прикусила нижнюю губу, кивнула. Аврелия молчала. Смотрела на меня, и я видел, что она уже всё поняла. Или давно знала.

Я сказал ей, что был с ним. Что я видел его в последний день. Что он умер как солдат — от ран, полученных в схватке с германцами, которые напали на его когорту. Я сказал, что он звал её перед смертью. Что он шептал её имя в бреду, когда я держал его руку. И я протянул ей тот портрет. Она схватила дощечку, припала губами к воску и стояла так, не двигаясь, не дыша, пока рабыня не подошла и не коснулась её плеча.

Я подумал, что эта Итака обойдётся без правды о своём Одиссее, что лес не должен прорасти в её доме - и пошёл своей дорогой.

Глоссарий.

Аурихалк - загадочный античный сплав, скорее всего, род латуни.

Борисфен - река Днепр.

Декан - командир контуберния, небольшого пехотного подразделения в римской армии, десятник.

Идиотес, идиот - в античной Греции: человек, живущий изолированно, исключительно частной жизнью, не участвующий в общественной жизни своего полиса. Такие люди считались жалкими маргиналами.

Какодемон - злой демон.

Калиги - род римской воинской обуви.

Катамит - педераст, мужеложец.

Каупона - кабачок.

Комит domestici - командующий личной охраной императора в позднем Риме и в Византии.

Лемуры - злобные неупокоенные души, нежить в римской мифологии.

Лимес - укрепленный рубеж, пограничье.

Преторий - резиденция префекта Рима.

Проскинеза - церемониальный земной поклон, при котором подданный простирался ниц перед лицом более высокого статуса, например, перед царём или императором. Часто этот жест сопровождался целованием земли, ноги или руки того, кому выражали почтение.

Спафа - удлиненный меч, вытеснивший со времен короткий римский гладий.

Эмпуза - ночной демон в античной мифологии.

Domine (лат.) - господин, владыка, повелитель; уважительное обращение к высшему по статусу человеку.

Milites (лат.) - воины, солдаты.

Август - сентябрь 2026 г.

Минотавр

Пролог. Кафе «Луиза»

Летняя веранда кафе «Луиза» пахла жареным луком и чужим счастьем. За соседним столиком две девушки в льняных платьях пили розе и хохотали над чем-то в телефоне. Официант забрал тарелки и спросил, не желают ли они заказать десерт. Анна хотела ответить, что они ещё не решили, но Егор опередил её.

- Мы не будем заказывать, счёт, пожалуйста, — сказал он, глядя куда-то за её плечо, а когда официант ушёл, добавил:

- Ань, я хочу поговорить. Серьёзно.

Анна почувствовала, как у неё похолодели кончики пальцев. Она сразу поняла, что предложения руки и сердца точно ждать не стоит. Ещё десять минут назад Аня рассказывала Егору про идею нового произведения об актёре, настолько вжившемся в роль, что он перестал узнавать себя в зеркале и в итоге убивал коллегу. Она ждала привычных остроумных замечаний - Егор был литературным критиком от Бога и неизменным первым её читателем, строгим и доброжелательным, - но в этот раз любимый молчал, перебирая вилку и смотря не на Аню, а куда-то за её плечо, на прохожих.

Анна улыбнулась, силясь овладеть собою, но тревога продолжала наползать.

- О чём? Тебе не нравится замысел? Ну, это же только намётки, герои не разработаны...

- Нет, - чуть громче сказал, отрицательно качнув головой, Егор. - О нас.

Девушки с розе за соседним столиком переглянулись. Аня заметила это краем глаза, ей захотелось уменьшиться или вообще пропасть. Официант вернулся со счётом, Егор достал карту, расплатился, не глядя.

- Ань, я думал месяц с гаком. Ты — самый талантливый человек из всех, кого я знаю. Ты разбираешь чужие мотивы, как хирург. Но когда я смотрю на тебя... Короче, я вижу автора и только автора. Анну Вольскую (это был её псевдоним), а не живую Аню.

- Егор...

- Ты — хорошо написанная книга. Но внутри — тишина. Ты не позволяешь себе быть неловкой, порой глупой, настоящей. Я хочу живую женщину, а не...бестселлер.

Анна молчала. Язык прилип к нёбу. Егор поднялся, взял сумку.

- Естественно, мы - друзья. Надеюсь. Но...в общем, ну... Если ты больше не захочешь видеть меня, я...я пойму. Прости. Будь счастлива.

Он резко развернулся и зашагал прочь — быстро, не оглядываясь, вливаясь в вечернюю толпу. Анна осталась одна за столиком. Девушки с розе старательно делали вид, что ничего не слышали, но Аня затылком чувствовала, как они набивают в мессенджерах: «Тут такое творится, мужик бабу прямо в кафе бросил...». Она жестом подозвала официанта, заказала бокал вина, выпила залпом, сжимая тонкую ножку дрожащими пальцами. Нет ничего унижительнее, чем стать героиней чужой шаблонной мелодрамы - и даже не найти правильных слов. Молчать, как последняя брошенная мужиком дура, а не успешная писательница. Инженер человеческих душ, мать вашу.

Дома Анна сорвала с себя новое лавандовое платье, купленное специально к этому вечеру, скомкала и зашвырнула в угол. Потом рухнула на диван — и заревела.

Мухоедство

Дедлайн стал ближе ещё на один день, но идей от этого не прибавилось. Анна лихорадочно листала ленту, пытаясь наткнуться хоть на какую-то вдохновляющую зацепку. Современная драма? Нет, бытовухой всех уже перекормили. Фэнтези-комедия на русском материале? Этого добра в кино выше крыши, и всякий раз оказывается, что Баба-Яга просто хотела любви, а Кошей — всего лишь страдающий интроверт. Царская семья? Заезжено до дыр, даже школьники знают, чем кончили Романовы. Что-то о войне? Но что она в ней понимает!? Она в поход-то последний раз ходила ещё школьницей.

Экран погас. Анна уставилась в своё отражение — бледное, с кругами под глазами, с волосами, собранными в пучок такой небрежности, что даже дворник в её дворе выглядел приличнее.

В этот литературно-драматургический конкурс Анна вписалась в те минуты лихорадочной активности, которые бывают у нас всех, когда мы клянёмся себе и мирозданию начать бегать с утра, отказаться от сладкого, заняться йогой, получить второе высшее и выучить шумеро-аккадский — причём всё строго до дня рождения или нового года. Работа над будущей пьесой казалась Ане единственным спасением. Она поможет ей снова оседлать Пегаса (Анна свято верила, что уже в силу рождения под знаком Водолея предназначена для езды на этом крылатом коне), выкинуть из головы Егора, завязать с хандрой и, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из этого болота за свои же хорошие, сильные, длинные тёмно-каштановые волосы.

В углу, куда Анна зашвырнула его в тот самый вечер, всё ещё лежал комоч лавандовой ткани. Платье, купленное специально к ужину, так и не дождалось второго выхода — оно покрылось клубочками свалявшейся пыли, сжалось, будто старалось занять как можно меньше места в этом мире. Анна поймала себя на мысли, что жалеет платье. Не себя — платье. Оно было красивым, модным и ни в чём не виноватым.

На столе, среди бумаг и книг, стояли три кружки с остывшим чаем. Каждую из них она заваривала заново, с новой надеждой, что вот сейчас она сядет, выпьет и начнёт работать. Но каждый раз чай остывал, становился тёмным, мутным, покрывался тонкой плёнкой. Ещё через день там появлялись насекомые-утопленники. Анна вспомнила, как Достоевский называл это «мухоедством». Хорошее слово. Ей казалось, что вся её жизнь за последние полгода превратилась в мухоедство.

Книги — стопкой, припорошённые пылью, лежали рядом. Томик Чехова, которого она так и не открыла, сборник пьес Шварца, «Мифы Древней Греции» в мягкой обложке. Она купила их для «фона», для «атмосферы», но так и не прочла дальше первых страниц. Книги были как она сама — красивые корешки, за которыми ничего не происходит.

И зеркало.

Оно висело на стене, повёрнутое обратной стороной. Анна красилась теперь редко — только когда нужно было выйти за хлебом или встретиться с мамой, которая всё равно видела её насквозь. Она делала это на автомате: тональный крем, тушь, помада... Не глядя, по памяти, как слепой, который помнит, где лежат вещи. Анна не могла заставить себя смотреть на женщину, которую так унизительно отверг Егор.

- Но ты же знаешь, Вольская, — сказала она вслух, глядя на деревянную заднюю стенку зеркала, — что я вижу тебя даже без стекла. Ты всё равно здесь. В каждой кружке, в каждой пылинке, в этом дурацком платье.

Платье в углу молчало. Кружки не ответили. Только пыль кружилась в луче закатного солнца, влетевшем с улицы.

Анна подошла к зеркалу и провела пальцем по его деревянной раме. Там, на обратной стороне, детским почерком было выцарапано: «Аня + мама». Она сделала это в десять лет, когда бабушка подарила ей зеркало. Тогда она хотела, чтобы они были вместе всегда.

Анна убрала руку.

- Прости, — сказала она зеркалу. — Я скоро переверну тебя. Обещаю.

Она снова взяла телефон, который подсунул Ане какую-то историческую викторину. «Самый малолетний император России». Анна ткнула наугад, обнаружила что ошиблась, и малюткой на троне был Иоанн VI Антонович. От этого имени в памяти её что-то шевельнулось. Быстро всплыли воспоминания о школе и прочитанном под влиянием уроков истории «Мировиче» Григория Данилевского. Историческая бульварщина и мелодрама, конечно, но тогда книга впечатлила Анну; девочка не знала, кого ей больше жаль – низложенного царя, не видевшего солнечного света и убитого в каземате, или самого Мировича, превращённого фантазией автора в рыцаря без страха и упрёка.

В школе тогда устроили конкурс сочинений на свободную тему, и Аня принесла на него своё - по этому роману. Приза она не получила, но вошла в десятку лучших, а кто-то из жюри сказал ей на подведении итогов: «У тебя, Аня, талант видеть в исторической хронике не сухие факты и даты, а живых людей».

Анна закрыла телефон, положила его экраном вниз и уставилась на повёрнутое зеркало. Пыль в луче солнца дрогнула, будто вздохнула, но зеркало промолчало.

- А ведь это идея, - сказала Аня сама себе.

Она ищет вдохновение в ленте, хотя оно почти двадцать лет лежало у неё под носом. Анна встала, подошла к столу и взяла томик «Мифов Древней Греции». Она открыла его на содержании — и палец остановился на том, что она искала, сама того не осознавая.

Дедал. Икар. Лабиринт.

И совсем рядом, через несколько страниц:

«Минотавр».

Мойры

- Минотавр, — повторила Анна вслух, пробуя слово на вкус. — Царь-чудовище. Узник собственного лабиринта. Его никто не спрашивал, хочет ли он быть чудовищем. Его просто сделали таким.

Экран ноутбука светился в полумраке. Стол был расчищен, книги (кроме «Мифов») заняли своё место в стеллаже, а три кружки сменились одной – зато полной не мухоедства, а крепкого ароматного кофе. Анна нашла в интернете портрет Иоанна, кликнула, увеличивая его.

- Ты не видел лиц тех, кто приносил тебе еду. Я не видела своего лица полгода, потому что отвернула зеркало. Ты был заперт в лабиринте и погиб, как Минотавр. Я блуждаю в своём, но найду выход.

Она встала, подняла, наконец, злосчастное платье, несколько раз встряхнула его, очищая от пыли, бережно повесила на плечики.

- Я хочу написать трагедию. Настоящую, как у Софокла или Еврипида. Где есть хор, рок, судьба и очищение. Где человек умирает, но перед смертью он обретает голос. Где зритель выходит из зала с чувством, что он стал лучше, потому что он заплакал над чужим горем.

Анна закрыла глаза и представила. Тёмный каменный лабиринт Шлиссельбурга. Сырость. Капли воды падают с потолка, отсчитывая время, которого у Минотавра было слишком много, но теперь больше нет ни секунды. Где-то далеко, в Петербурге слышен смех — там, наверху, во дворце, люди во главе с всемогущей императрицей пьют вино и обсуждают, когда же, наконец, придёт очередной герой, чтобы убить чудовище.

А в центре этого лабиринта сидит он. Тот, кого давно никто не называл по имени. Тот, кому оставили только прозвище — Минотавр.

Анна открыла глаза, села за ноутбук и начала печатать:

«МИНОТАВР

Трагедия по мотивам судьбы императора Иоанна VI Антоновича».

Она остановилась, свернула вордовский файл, посмотрела на портрет шлиссельбургского узника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.